

ТЕОРИЯ ЦЕННОСТЕЙ

Новелла

Теория ценностей, как и цена производства, – буржуазные и ложные учения, возможно на современном этапе и не актуальные, но в свое время игравшие определенную роль в отвлечении трудящихся масс от классовой борьбы, а потом и от строительства коммунистического общества, призывавшие не к марксистскому научному познанию общественных явлений, а к их так называемой оценке с точки зрения определенных, а точнее, частных интересов, целей и идеалов. Понятие цены производства, на первый взгляд, всем доступное, объяснения не требующее – затратил, оценил затраты и назвал цену! А на са-

мом деле, цена производства – это превращенная форма стоимости товара, и так далее по Марксу, обнаружившему это капиталистическую увертку против трудящихся.

Обе теории буржуазные. Но странным образом обе теории гнездились в нашей социалистической системе хозяйствования.

Например, цена производства, то есть превращенная форма стоимости, присутствовала в социалистическом сельском хозяйстве, конкретно в колхозном производстве. За работу от темна и до темна, так сказать, за световой день, колхозник получал трудодень. А какова стоимость этой единицы измерения труда колхозника – метр ситца или килограмм зерна, или воз сена, или просто рубль – никто не знал, потому что эта стоимость являлась превращенной в трудодень. Бригадир ставил в отчетном документе в виде его «гумаги» вертикальную черточку, называемую палочкой. Но он мог поставить эту палочку, а мог не поставить. Вместо палочки он мог сказать: «Сѣдни не робил!» – означающее по-букейски, что колхозник в данный день не работал. Вот и вся оценка с точки зрения частных интересов и целей, вот и вся теория ценностей!

Метр ситца, килограмм зерна – эти продукты производства всем понятны. Они, так сказать, являют вещь в себе. Они такие и больше никакие. А вот воз сена – это ценностное понятие не для каждого. Метр ситца, килограмм зерна бери, не мнись, не говоря уж о рубле. А воз сена – это не та шкала измерения. Бывает и сено в возу не созревшее, и весу исходно справного – но иной воз далеко не воз, а простое издевательство над возом. Потому что воз сена – это самая натуральная превращенная форма стоимости товара, и связана такая форма с целью и интересом, можно сказать, с идеалом, потому что, как сено на телегу намечешь, как его привезешь на место, такая ему стоимость и будет. А наметать воз сена на телегу так, чтобы по дороге самой маленькой травинки не уронить – это и есть самая настоящая стоимость. То есть опять натываемся на теорию ценностей. По одной оценке – он воз. А по другой, как уже было сказано, – не воз, а издевательство.

И Сано Бутаков в этой стоимости толк понимал.

День у Сано Бутакова с утра пошел жаркий, но не гнетущий, как обычно бывает, а тихий. День с утра пошел самый покосный. Сано проснулся еще до света, осторожно поворожался с боку на бок в своей малухе, то есть летней избе, послушал себя, где что сегодня болит, да и начал вставать. Следом потянулась жена. Вместе умылись-ополоснулись. Жена села под корову, а Сано в загоне прибрал, потом увязал в дорогу литовки, оселки, грабелки, трехрогие деревянные вилы – всё к покосу.

– День-то вроде как ровный собирается! – сказала жена.

– Должно, постоит погода! – кивнул Сано, а про день привычно подумал, ему-то вообще будет ли он, день.

Потом зашебутели две девки-дочери и старшой, осенью ему в армию. За столом они поспалились-поперемигивались над чем-то своим и айда – умыкнулись на колхозный двор. Вся Бутаковка сегодня – на покос, можно сказать, на праздник.

Сано остался.

Все мимо его двора укатали, телегами прогремели, чьими-то плохо увязанными граблями протараторили, поржали над чем-то или над кем-то, а потом зазевали песни. Зазевали не дружно, опять с хохотом. Понятно, покос, работа счастливая. А сам Сано после всех все прибрал, еще прошелся по двору-сарайкам, пошел в избу будить младшего. Его дома оставили. Он на ржавый гвоздь наступил, мать пожалела, распорядилась, пусть-де спит. А тот проснулся, для виду похромал, а потом штаны поддернул, кусок хлеба схватил – да и дырка свисть вдоль по улице, и гвоздь не гвоздь.

Сано, покосному народу завидуя, старый лапсердачок накинул, кепочкой приукрасился и привычно поковылял за ворота на скамеечку табачком посмолить. Вот и всех дел ему. До иных дел уже жилы нету. И половины легкого нету, половины желудка, половины кишок, половины ноги. Всё – в расходе, как конторский бухгалтер говорит, в кредите. А в приходе, по его же словам, в дебете, – двадцать семь, как посчитали врачи, невынутых осколочков. «Их вынимать – это тебя, сержант, на мелкие кусочки изрезать! Живи так, пока живется!» – сказали. – «Спасибо и на том!» – ответил.

Сидел Сано с табачком на скамеечке перед воротами, смотрел на правую ногу в тапке из старой лесопильной транспортной ленты, смотрел на левую ногу в деревяшке со старой телогрейкой под культей и с кованным кольцом на самом ступе, то есть на конце. Сидел и думал. Сначала все о покосе думал. О тех, кто уехал, думал. Счастье им там, на покосах, думал. А потом стал думать про другое «Целина, целина! – стал думать Сано – Все государство на целину ополчили. Всем – целина. А мне уже не целина! – стал думать он о всесоюзной кампании по освоению целинных и залежных земель в далеких казахстанских краях. – И что? И зачем? Что ее, новую-то землю, тревожить? Кабы нам продых тут дали, так мы и без целины город-то накормили бы!» – Он так стал думать, а сам все мыслью отскакивал к покосам, высчитывал, где сейчас косари едут, и вспоминал, как в прошлом году он все-таки собрался с силами и поехал, уж не косить поехал, не грести, не ворошить и уж тем более не метать – не робить поехал, а зуд усмирить. Сказал – может, и в последний раз, может, и перед смертью, так хоть рядок пройду, хоть полрядка, да хоть пару раз литовкой-то махну, а нет, так просто постою перед травьем-то, наполнюсь половиной легкого, сладко ведь. А и того не вышло. Растрясло в дороге. Железо в нем струнулось. Едва обратно в больницу увезли, опять резали, опять шарили по нутру, опять зашивали.

Издали увидел Сано другого половинчатого, Петруху. И видно, Петруха к нему ковылял. У Петрухи обеих ног по самые коленки нет. И ковылял Петруха, как и весь миллион таких же безногих, на обрезках старых автомобильных шин. Вид у Петрухи при ходьбе был самый старательный. Ходить на коленках – все равно, что малому дитя, устойчивости нет, и ноги вперед выбрасывай, не выбрасывай, а шажок получается короткий и неловкий. И, говорит Петруха, голова все время перетягивает. Не рассчитана она на отрезанные ноги. В остальном у Петрухи все ладом. Хоть так, а ходит. И вроде бы завистно иной раз у Сано к Петрухе. По понятию Сано, Петруха совсем не инвалид.

– Чо на покос-то не поехал? – спросил Сано, когда поздоровались.

– Сушилку послали ладить. Не успеешь оглянуться, как хлеб потечет! – сказал Петруха и ловко с колен себя на скамейку сильными руками посадил.

Потолковали обо всем через табачок, о погоде, о хорошем сегодняшнем дне, о покосах и видах на сено, опять склонились оба к целине.

– Целина, целина! – тоже, как Сано, с неприязнью сказал Петруха. – Ввалият в эту целину все, что народ наробить успел, и... – и рукой махнул: – Хозяйственнички!

А Сано подумал, что до того дня, как станет видно, что ввалили в целину столько, сколько народ наробил, а толку с того никакого, ему уже не дожить. «Хоть завтра случись это, а не доживу!» – подумал Сано.

Посидели оба рядком, помолчали.

Вдалеке, за рекой, по-осиному нудно и с какой-то обидой зазудела машина. Сано ее ухом ухватил и определил, что зудела она на заречной луговине, широкой с отбористым травостоем пойме. «Чо ей там надо?» – подумал Сано, а потом вспомнил, что там косили городские командированные. То-то и машина у них зазудела. Городским-то ведь хоть до малой нужды, а всё на машине надо. Не могут городские без машины. «Истопчут всё!» – еще подумал Сано про луговину и стал ухом машину вести – куда она потянется.

А она медленно и с обидой в своем осином зуде потянулась к мосту. И Сано стал ждать ее. С моста ей деваться было некуда – только на перекресток улиц. А на перекрестке, если она зазудит даже не в сторону Сано, то он все равно ее увидит. И что за трудодень – машину увидеть, а вот припотемило Сано ее увидеть, будто от того что-то этакое ему будет! И Сано стал на перекресток поглядывать.

А тут вывернулся с другой стороны, с колхозного двора, сынишка с ребятней.

– Батяня, посмотри! – стал тыкать сынишка Сано под нос чью-то старую шапку.

– Чо там у вас? – вперед Сано сунулся в шапку Петруха. В шапку сунулся и тем же заворотом от шапки в сторону порскнул. – Тьфу, зараза! Чо у вас там, мышовье, никак! – заматерился он.

– Нет, дядя Петя, не мыши! Мы в коровнике комяков вилами били и вот этих нашли! Не мыши это, а комячата, только народились! – сказал сынишка.

Петруху от известия передернуло.

– Тьфу, зараза! – густо сплюнул он в сторону.

– А чо! Хорошие! – в возражение Петрухе сынишка вынул из шапки нечто махонькое, багровое, скользкое и голое.

Петруха опять передернулся, А Сано привычно подумал: «Они народились, а я вот помру!» – и от своей мысли вдруг потянулся к шапке:

– Дай-ка глянуть!

– Да ну вас! – соскочил со скамейки Петруха.

В шапке были новорожденные крысята. Сано посмотрел на них и спросил про мать.

– Мать-то где? – спросил он.

- Вилами проткнули! – сказал сынишка.
- Да утопите в речке! – сказал Петруха.
- Жалко! – сказал сынишка.
- Ну, не то молочком напоите! – усмехнулся Петруха.

Сынишка посмотрел на Сано.

- Тоже жизнь! – сам себе сказал Сано и подумал, что ему ее, жизни, уже нету.
- Дак, как, батяня, молочка-то им? – спросил сынишка.
- Плесни! – усмехнулся Сано, а сам вспомнил, что перестал вести ухом машину.

Сынишка с ребятней подрал в дом, Петруха, сплевывая от крысят, пошел в сушилку, а Сано поймал надсадное и неровное зудение машины, определил, что она уже зудит на мосту, и он вот-вот ее увидит.

И Сано ее, машину-полуторку, увидел. И что там было, на машине, очень Сано не понравилось. Воз сена там был, на машине. И этот воз Сано не понравился. Воз был навален набекрень, стянут был, видно, без бастрыка, от того ходил ходуном. И на ямах с такого воза, как шерсть с линялой собаки, сено валилось под колеса.

- Ядри их мать! – закипел Сано.

И кипел до поры, пока машина не поравнялась с ним. Он на нее неотрывно смотрел, екал сердцем при каждом упавшем клоке. А лишь она с ним поравнялась, сорвался с места и затряс клюшкой над головой:

- Ядри вас мать, работнички!

Машина остановилась. Из кабины выскочили двое молодых парней, черный и рыжий. Черный метнулся к мотору, цапнул крышку радиатора, взохал, обжегшись, и с матом отскочил. А рыжий оглянулся на Сано.

- Мужик! тащи ведро воды! – закричал он.

- Я вам притащу! Я вам притащу! – клюшкой отвечивал Сано.

– Тащи ведро воды, растакая мать! Видишь, трамвай сейчас бабахнет! – весело заматерился рыжий.

– Я вот вам, нероботь поганая, сам сейчас бабахну! Сено-то, оно вам что? Сено-то! – кипел и тряс клюшкой Сано.

– Сено? А пошло оно, ваше сено! Ты нам ведро воды тащи! Видишь, с твоим сеном технику загубили! – заскалил рыжий.

Черный в это время с тряпкой отвинтил крышку радиатора. Столбом ударил пар.

- Во, японский городской! Еще сто метров – и рвануло бы! – восхитился черный.

- Во, понял, мужик, нет! Технику из-за твоего сена губим! – снова заскалил рыжий.

– Сами сдохнуть не можете, работнички! Технику они губят! Да вы всю страну загубите! На целине-то, небось, такая же, как вы, нероботь! – ткнул клюшку в землю Сано. Только он целину считал неумным и вредным занятием, а вдруг и целина стала ему в строку.

– Ты чо разорался, мужик? Ты давай воды тащи, в радиатор заливать будем! Вместо вас работаем, и мы же виноваты! – озлились оба, рыжий и черный.

– Сено сначала за собой приберите, а потом я еще посмотрю, дать вам воды или нет!
– повернулся к скамеечке Сано.

Он повернулся, а ему со словами: «Ах ты!..»– в правое ухо хлопнул увесистый лец. Сано на левой деревяшке не удержался, упал и тут же с двух сторон в ребра ему остро врезались два керзача.

– Вот тебе сено! – услышал он.

Тут же в Сано что-то из железа стронулось, сильно ткнуло около сердца, и свет ему померк. И вернулся к нему от голоса сынишки: «Батяня, вставай! Батяня!» И что дальше говорить. Встал бы Сано, если бы вместо деревяшки была целая нога. А так, где ползком, где закорком, где иным умыслом добрался он до скамейки. Сел. Огляделся. Машина с возом стояла на месте. Возле нее никого не наблюдалось – перепугались, значит, что убили, и дали деру. Посидел Сано, попросил сынишку принести воды. Попил, снова посидел.

– А они молоко-то не стали пить! Мы им совсем немного налили, а они сразу утопли!
– сказал сынишка про крысят.

– Без матери все равно бы сдохли! – сказал Сано.

Стронутая железяка в нем жутко саднила и не давала шевельнуться весь день. И весь день никто к машине не подходил. Вечером сынишка встретил скотину. Корову, как договаривались, подоила соседская баушка. И к вечеру Сано задумал неладное. И расчет задуманного вышел верным. Каким уж манером он добрался до машины и сел в кабину – он сам не сказал бы. Добрался, сел в кабину и дождался. Пришли оба, черный и рыжий, пришли пьяные. Он услышал это по голосам. Кто из них открыл дверцу, в темноте Сано не разобрал, а только со всей страстью ткнул его вилами.

Сам он, Сано, Александр Прокопьевич Бутаков, едва протянул день и умер по дороге в город прямо в милицейской машине.

А нам говорят: теория ценностей, цена производства!

СИЛА ИСКУССТВА

Новелла

Илья Ефимович Репин создал картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Как всякое, что вышло из-под кисти великого русского живописца, картина про запорожцев очень живописна. И как всякое, что вышло из-под его кисти, она очень популярна. Из репинского наследия она, пожалуй, популярнее всех. Потому что другие там «Бурлаки на Волге», «Не ждали»– это, конечно, близко букейской душе, но как-то не особо прохватывает. Нету там, не изображено чего-то самого букейского, порыва, что ли. Нету там размаха и воли. Есть там какая-то угнетенность. А на угнетенность смотреть букейскому человеку, конечно, если он не интеллигент, смысла нет. А вот «Запорожцы,

пишущие письмо турецкому султану» – это другое дело. Запорожцев букейские люди со времени «Тараса Бульбы» Николая Васильевича Гоголя любят. А что запорожцы вместе с польскими панами ручкались и на Москву бегивали и людей там бивывали, так букейский человек таких историй не читывал и, может, скажи ему какой-нибудь интеллигент об этом прочитать, букейский человек и чихнуть не забеспокоится. А если и чихнет, то есть если и прочтет, то рукой махнет. «Да ну вас к растакой матери, интеллигентов! Вечно вы лезете!» – скажет. Влюбил в запорожцев букейского человека Николай Васильевич Гоголь. Вот какова сила литературы в лице ее русского классика. И вот какова сила искусства в лице Ильи Ефимовича Репина.

Александр Иванович пришел в клуб к художнику Паше.

– Коммерческое предложение! – сказал он.

Были времена, когда слово «коммерция» не имело той магической простоты, как во времена последующие. Оно не манило к себе советский народ, прекрасно знающий, что за этим словом укрывается хищнический оскал капиталистического монстра, что при нем исчезает все человеческое, и жажда наживы толкает капиталиста на любые преступления. Учитель Георгий Иванович на уроках в этом плане всегда приводил слова Карла Маркса и Фридриха Энгельса, что капиталист за сколько-то там процентов прибыли без колебания продаст мать родную – а что уж говорить о матери-родине!

И в такое время Александр Иванович пришел к художнику Паше и предложил совместное коммерческое предприятие – не капиталистическую эксплуатацию человека человеком, а честный заработок.

– В галереях видел, сколько картины стоят? А доступны они советскому простому человеку? Вот то-то и оно! А я тебе предлагаю понести искусство в народ, прямо ему на дом! – сказал Александр Иванович.

– Чо мне нести-то? – ничего не понял Паша.

– Ты рисуешь картины – я их продаю! – сказал Александр Иванович.

– Теневая экономика, что ли? – сказал Паша об известном преступном, но в те времена тщательно скрываемом властью принципе наживы.

– Ну, дураки! Ну, всего бояться! – сказал Александр Иванович не только о Паше, но и об односельчанах-букейцах, а потом сказал Паше. – Тебе-то чего бояться? Ты художник! Ты должен быть без предрассудков! – и дальше сказал про известного авиаконструктора, создателя многих советских отличных самолетов, в конструкторском бюро которого, по словам Александра Ивановича, он, Александр Иванович, некогда работал. – Вот он если бы был с предрассудками, фиг бы он чего добился! Он мне доверял. Он прямо говорил: «Александр Иванович, ведь миром правят предрассудки! Мысль от них затвердела! Гибкость в нее надо внести! Не побалуемся ли коньячком?» А ты мне: «Теневая экономика!»

– А чо, не теневая, что ли? – спросил Паша.

– Дурак! – сказал Александр Иванович и утром пришел снова и развернул репродук-

цию картины Ильи Ефимовича Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». – Вот он, – сказал Александр Иванович об Илье Ефимовиче Репине. – Вот он художник. Он без предрассудков. А ты мазила, потому что с предрассудками. И фигу тебе так нарисовать!

– Мне и не надо! – сказал Паша.

Но прошло какое-то время, и Паша сам нашел Александра Ивановича.

– Ну-к ще, посмотри! – позвал он Александра Ивановича.

Александр Иванович пошел к Паше в клуб и увидел «Запорожцев» Ильи Ефимовича Репина уже не в репродукции, а вживую, то есть в копии масляными красками на куске грубого строительного картона, еще именуемого древесно-волоконистой плитой. Александр Иванович долго и молча смотрел, потом молча и с чувством пожал Паше руку. Потом еще смотрел. Потом сказал:

– Хорошую раму надо! Без рамы не пойдет!

– Репин рам-то не любил! – сказал Паша и показал библиотечную книгу воспоминаний об Илье Ефимовиче, в которой черным по белому было написано о некоторых чудачествах Ильи Ефимовича. Одним из таких чудачеств было как раз какое-то не очень серьезное отношение его к рамам.

– Скажите, пожалуйста! – сказал Александр Иванович и то ли оценил чудачество великого художника, то ли открыл новую черту в букейцах, называемую тягой не только к знаниям, но и к прекрасному.

А было лето. Была летняя, хоть и не как в каком-нибудь Крыму, но была своя букейская летняя пора. Только что прошли недельные холодные дожди, просвистали холодные ветры, проползли грозозкие и нескончаемые тучи. Никто за это время не обморозился, не потерялся в непогодном лесу, не впал в депрессию. Производственный план предприятиями не был сорван. Совхозы по-своему справились с надоями и даже с необходимыми полевыми работами. Никакого катаклизма от летних холодов в Букейке не случилось. Букейцы просто втянули голову в плечи, чтобы не попадало за шиворот, и тем ограничились, стали привычно ждать тепла. И тепло пришло. Пришло хорошее летнее тепло, припекло в Букейке и прижарило.

Учитель Георгий Иванович таким-то вот хорошим утром спешил в школу. Он был в отпуске, только что вернулся из поездки в Москву, был полон московскими впечатлениями. Он всегдашним своим быстрым шагом шел узким тротуаром, по бокам сильно заросшим репьем и крапивой, но всею своею натурой был в Москве, в ее какой-то завораживающе притягательной толчее, замороженном дающей хотя и мнимое, но чувство сопричастия его, учителя Георгия Ивановича, к чему-то особенному, к чему-то подспудно лелеемому, к чему-то исстари знакомому и к чему-то необыкновенно новому, что называется столицей нашей Родины городом-героем Москвой. Всею натурой он был в этих нескончаемых и плотных, как тучи в букейском небе, толчаях, несущих его по Москве от одного достопримечательно-

го места к другому, от одного музея к другому. Он был в толчеях этих достопримечательных мест, в толчеях музеев, впитывал в себя величие человеческого духа и человеческой гуманистической мысли, воплощенных в великих творениях. Ведь какое чудо внимать творениям сего духа в Третьяковке, думать о путях искусства в Государственном музее искусств, очаровываться творениями мастеров в музее народов Востока! Все это до сих пор стояло перед глазами учителя Георгия Ивановича. Более того, оно каким-то своим эстетическим образом придавало ему жизненную силу, поднимало его, подлинного и, пожалуй, единственного подлинного интеллигента в Букейке, к каким-то высотам, к каким-то вершинам, к каким-то олимпам духа, без которых он уже и жизни-то своей не представлял.

И он спешным своим шагом спешил в школу, к коллегам, которые, конечно, никуда не ездили, ничего не смотрели, ничего не впитывали, ничему не внимали, ничем не захватывались, и конечно, нисколько не понимали Георгия Ивановича, зачем он ездил, смотрел, внимал, впитывал, захватывался. И это их непонимание ставило Георгия Ивановича очень высоко. Оно-то и возносило Георгия Ивановича недостижимо выше его коллег. И, вернувшись из Москвы, он не мог усидеть дома.

Близ школы с обочины тротуара, прямо из репьев и крапивы, его вдруг окликнули.

– Эй, педагог! – окликнули его не совсем вежливо.

Он остановился. В шаге от него, протянув ноги на тротуар и с бутылкой пива в руке, сидел Александр Иванович.

– Куда летишь, педагог? – не совсем вежливо спросил Александр Иванович.

А учитель Георгий Иванович увидел прислоненную к толстому стеблю репья некую картинку, в которой тотчас узнал картину Ильи Ефимовича Репина «Запорожцы». Не надо ведь забывать о том небольшом обстоятельстве, что все, что вышло из-под кисти Ильи Ефимовича Репина, можно сказать, стало достоительно-национальным, принадлежно-русским – таким, какому и внимать-то не надо, так как оно само внемлется и как бы искони живет в русской душе, органично вписывается даже в букейские эстетические представления, в отличие от умозрительных путей западного искусства.

– А слабо купить, педагог? – спросил Александр Иванович.

– Господи! Да кто же так Илью-то Ефимовича разукрасил! – воскликнул учитель Георгий Иванович.

Александр Иванович тотчас же понял всю интеллигентскую сущность учителя Георгия Ивановича.

– Значит, слабо! – констатировал он и еще более невежливо, нежели окликал минутой назад, погнал учителя Георгия Ивановича прочь. – И чеши своей дорогой, не загораживай тут! – сказал он.

Собственно, учитель Георгий Иванович ничего ни от кого не загораживал. И остановился он около Александра Ивановича не по своей воле. И, конечно, это учителя Георгия Ивановича очень задело.

– Между прочим, я только что из Москвы, и все это, – учитель Георгий Иванович показал пальцем на грубый строительный картон, то есть на копию с картины Ильи Ефимовича Репина. – И все это я видел в подлинниках! – сказал он.

– Чеши, чеши! Прививай детишкам разумное, доброе, вечное! – в нехорошем тоне о хороших словах сказал Александр Иванович.

– Да уж, во всяком случае, не к этой вот дряни, – учитель Георгий Иванович снова показал пальцем на грубый строительный картон, то есть на копию с Ильи Ефимовича Репина. – Не к этой вот дряни я буду ученикам прививать вкусы!

– Ну-ну! – усмехнулся Александр Иванович. – Ну-ну! Ты будешь, как попугай, им про все прекрасное в человеке бубнить! Ты будешь чеховскую галиматью детишкам на уши вешать! «В человеке все должно быть прекрасно!..» как попугай, будешь повторять. А может, Чехов Антон Павлович, такого не говорил! Может, за него это придумали! – вскричал Александр Иванович.

– Да как же придумали! Да что вы такое говорите! – возмутился учитель Георгий Иванович.

– Придумали, чтобы вам головы морочить! – сказал Александр Иванович и взялся обличать учителя Георгия Ивановича. – Ты по Москвам разъезжаешь, по галереям ходишь, подлинники разглядываешь! А что ты настоящего в искусстве видел? Ты хоть знаешь, что вот он, – Александр Иванович показал на грубый строительный картон, то есть на копию с картины Ильи Ефимовича Репина, имея в виду самого Илью Ефимовича Репина. – Ты хоть знаешь, что он рамы не любил, одну хуже другой к своим картинам их делал?

– Знаю! Читал в книге Минченкова «Воспоминания о передвижниках!» – сказал учитель Георгий Иванович.

– Все в книжечках вычитываете! – сморщился Александр Иванович без всякой логики, будто сам о чудачковом факте нелюбви к рамам из жизни Ильи Ефимовича Репина узнал из каких-то других источников. – Книжники вы и фарисеи! – еще сказал он и стал далее говорить о себе, о своем давнем очень высоком положении. – Меня сам генеральный во всем кабэ единственного выделял! Сколько мы с ним водки и разных коньяков перепили! Ни с кем не пил! А мне говорил: «Пойдем, Александр Иванович! Мысли надо через аэродинамическую трубу пропустить, а то предрассудки скапливаться начали». Вот в ком все было прекрасно, не то что у твоего Чехова!

– Почему же у моего Чехова? – спросил учитель Георгий Иванович.

– Потому что ты только книжечки почитываешь да подлинники разглядываешь! – обидно усмехнулся Александр Иванович и снова взялся экзаменовать учителя Георгия Ивановича. – А вот скажи, если подлинники разглядываешь, какие были у Чехова предсмертные слова?

– Он сказал «Их штербе!», что по-русски будет «Я умираю!» – сказал учитель Георгий Иванович.

– Ха! «Я умираю!»– ликующе воскликнул Александр Иванович. – «Я умираю!» Это твои книжечки, чтобы тебе мозги запудрить, так пишут! А на самом деле он другое сказал! Мне генеральный в свое время мозги прочистил! «Ты, Александр Иванович, – сказал, – думаешь, что Чехов это сморозил? Никакую «Я умираю!», то есть «Их штербе!» он не говорил и говорить не думал. Ты лучше вот скажи, кто нам, мужикам, всю жизнь ломает. Кто? Вот то-то и оно. И Чехов своей актриске, которая его в гроб загнала, сказал на чистейшем русском языке «Ты стерва!» Перед смертью насмелился. Интеллигент был. При жизни всего боялся. А перед смертью сказал. Это она придумала про «Их штербе!» Ей же надо было как-то выкручиваться. Грамотная. Быстро нашлась. «Ты стерва!»– «Их штербе!» слышишь, как звучит?...»– вот как мне генеральный мозги вправил! – сказал Александр Иванович и показал на грубый строительный картон, то есть на копию с Ильи Ефимовича Репина. – И это так же! Ты думаешь, это мазня! Ты, видишь ли, подлинники разглядывал! А что они стоят, твои подлинники, если они даже и подлинники! Эх, народ!..

Так сказал Александр Иванович и долго-долго пил из бутылки, пока все не выпил и бутылку не бросил за спину.

На это учитель Георгий Иванович не нашелся ответить.

– Могу заверить со всей ответственностью, что вас ввели в заблуждение! Антон Павлович сказал именно «Их штербе!»– сказал он.

– Эх, народ!.. – ответил на это Александр Иванович.

– Именно народ! Именно он хранитель истины в последней инстанции! – сказал учитель Георгий Иванович.

Он поспешил своей дорогой и не стал слушать того, что вдогонку лепил ему старый дурак.

– Было бы слишком просто, если бы он сказал «Ты стерва!»– говорил себе учитель Георгий Иванович.

А, тем не менее, он чувствовал, что что-то его стеснило, его, вольного букейского человека, и даже более, чем вольного букейского человека. Что-то стеснило его, подлинного и единственного в Букейке интеллигента.